

Мне почти двадцать два года. Вся моя творческая биография состоит из того, что я не умею не писать, делаю это регулярно, вот уже почти десять лет, изредка читаю на литературных вечерах в Киеве, но в основном — близким людям.

и не чувствуя рук, мы роняем их в снег —
раскаленные комья немых молитв,
сеем раны свои, и из них по весне
вырастают крылатые корабли.
и вдыхая под бархатный снежный блюз
взмахи крыльев сквозь стены мутной воды,
я безумно красиво с тобой смеюсь,
оставляя на их парусах следы,

а когда рассыпается мой причал,
превращаются блюзы в ритмичный стук,
ощетинив мачты, они рычат,
отгоняя голодную пустоту.
эта тварь боится их, как огня,
потому что из-под ее ножа
их сердца звездопадом летят в меня,
разжигая в холодных зрачках пожар.

мне зеленый горит светифором твоих глазниц,
моя скорость срывает платья с прохожих девок.
мое сердце летит вперемешку с больными птицами —
справа налево.

мои пальцы висят в металлической пустоте,
леденеющей серым испачканным молоком:
я тебя соскребаю с ужасных общажных стен
отбойным молотком.
я тебя сдираю с пелевинских острых букв,
выдираю рывком из набоковских томных строк,
можно не выпускать тебя никогда из рук?
можно выцедить прямо в рот твой горячий сок?
можно мне плясать твой тембр до рваных связок?
можно выучить наизусть на тебя досье?

ты не помнишь ни слез, ни сказок, ни слез, ни сказок.
как и эти все?

ты похожа на Фриду, на Ло и на всех охеревших Марл,
я похож на Степного Волка и на дерьмо.
и мой мир ледяной — для тебя невозможно мал,
невозможно болен, слаб, невозможно мой.

я тебя не люблю, но твоя излюбленная зима
снегом выжгла на мне клеймо.

я тебя не люблю, но фотки твои держу
у бутылок внутри, в которых ночует Джинн.
я тебя не люблю, но какая же это жуть —
никому не показывать странные витражи,
швы на облачном небе, трещины на стекле,
волшебство узловатых уличных завитков,

солнце, выжженное на левой, — болючий след,
никому не давать пробовать губы в кровь,
не пытаться сплести никому голубых морей
из прозрачных высокоградусных горьких пойл,
не проснуться от марта, не ждать никакой апрель —
ни с какой тобой.

сероглазые кольца на средних и на больших
вспоминать как секс, вспоминать как твой личный стиль,
я тебя не люблю, и ни капель своей души
не коснулся тебя, не вошел в тебя, не настиг,
не закрыл тебя в своих внутренних психбольницах,
не надел себя на пальцы твои кольцом.

я тебя не люблю, но зима твоя веселится:
вмерзла насмерть в мое ржавеющее лицо.

мое сердце летит вперемешку с больными птицами
и срывает с девочек платица в высоту

можно мне раздевать их и видеть твои ключицы?
можно мне их швырять на твой электрический стул?

и, смеясь,
как тебя,
подхватывать на лету —
сорвавшуюся звезду.

*'Птица на костылях ходит-бродит
по полям беззащитно-гордая'*

В. Народницкий

птица с седыми выцветшими глазами
хромает на обе, стучит костылем по мусору,
по черной земле, которой ее связали,
шарит обрубками-крылышками в укусах.

птица кричит — матерно, курит приму,
сломаным клювом грязный кромсает воздух.
птица летала и пела — неизгладимо,
пением заостря углы на звездах.

птица все помнит: как небо харкало пламя,
перья смолило — воняло повсюду гарью.
птица кричала матерными — стихами!
и выживала в каждом его пожаре.

было давно: было небо, маршруты, вписки,
был рок-н-ролл травмированных суставов,
были и братья — волки и василиски,
были и сестры, и девушки, и шалавы.

кости срастаются криво, дороги — в узел,
небо болеет раком, болеет астмой,
сердце болеет эрозией пьяных музык,
улицы — толпами трусов и педерастов.

время идет сквозь нее, вырывает ткани,
вьет из нее клубки для подстилок нищим.
весь этот мир — ни крыльями, ни руками
не утащить с громадного пепелища.

но над полями, в небе — такое солнце!
такое не терпит касаний от жирных пальцев,
птица взлетает, ей больно, но удается,
птица летит, молится и смеется:

дай же мне, Боженька,
падать, но не спускаться,
сдохнуть и не спускаться.

но Боженька непреклонен, кругом — война,
и — вырваны крылья, и сложены крылья в сумку,
но небо роняет под лапы пакет вина
и даже — пластинку Умки.

не смотри в них — они не жгли никаких костров
 на доньшке глаз, в грудной одиночной камере,
 ни разу, ни разу не рассекали бровь
 об острое многоугольное привыкание
 к побитым собакам в шкурах степных волков,
 к бутылкам, наполненным ядами всех мастей,
 и не гоняли мыслей, взбесивших кровь,
 по тоннелям своих космических плоскостей.
 и они не жрали на ужин глухой протест
 и не знают, чем его следует заливать,
 и не отпевали повешенных поэтесс,
 и не разбивали лиц внезапными рамками волшебства.
 не смотри в них, в душные сводки правильных новостей,
 не касайся ногами своими такой земли.
 не касайся пальцами грязи кирпичных стен,
 не под ними ходят хищники, взломщики, короли,
 ты уже горишь и, значит, навечно влип.

у тебя в зубах — вырванные страницы,
 вырванные сухожилия чьих-то истин.
 из тебя галактика вырванная сочится
 и течет в океан, и срывает любые пристани,
 и впивается в горло пластмассовым механизмам
 их бессмертной глупости, приводящей в ужас,
 ты трогал губами самое дно, самую крайность, низ,
 но каждый восход — само солнце, с тобой целуясь,
 зажмуривается, ластится и урчит.

а они и близко не станут к такой печи.

'вспомнила сказку о девочке, которая научилась
 выращивать много черных дыр у себя внутри'

увертюра к светлому будущему

а лет через десять я разучусь выращивать
 черные дыры под черным воротником,
 помнить, как ныли на кольях головы пращуров
 и имена зацелованных мной оском,

и как водку разлить на доски от черных ящиков,
 и танцевать по ним босиком.

перестану в окна бросать косточки
от краденых вишен, и зубы точить о души.
и если меня позовут танцевать под форточкой
окна в моей психбольнице — струшу.
стану брюзжать по-старушечьи в уши
не приведи господи — мужу.

лет через десять я разучусь чувствовать
камни в своем беспокойном сплетении солнц,
разучусь — читать вусмерть, писать вусмерть
пить из самого дна колодца,
научусь дочитать до конца и не уколоться.

у меня потемнеют глаза и нальются страхами,
я разучусь быть пиратом своих морей
и разучусь определять по запаху
подранной шерсти самых больших зверей,
забуду, как выйти читать перед полным залом
и от ужаса умереть.

и я забуду совсем, чьи следы на мох коленях,
чьи синяки на лопатках и на глазах,
и за какие чертовы преступления
в меня плюются ожившие образа,
и забуду теплые лапы, которые я лизал.

и главное — себя как следует наказать.

забуду, как я позорно взлететь не смог
на очень маленьких, очень худых и блеклых,
смолол их в кучку перьев и жидкий фаршик.

а сейчас, чуваки, я пою БГ и затягиваюсь восьмой
в надежде сдохнуть от рака легких
гораздо раньше.

по Шредингеру: раз кот мертв, то кот однозначно жив.
 коробка забита гвоздями до лучших весен,
 а пока — мне свернуть в узлы лабиринты жил,
 перестать задавать вопросы,
 перестать мертвым грузом клеить себя к земле,
 я устал, мой свет, как несчастный корабль-призрак
 у меня топливо каждую пятницу на нуле,
 но каждый день — чертово море девярых жизней
 и ничего никогда не закончится хорошо.

по Шредингеру: кот голоден, если сыт.
 по Шредингеру: я остался, когда ушел.
 по Библии — я херовый, херовый сын
 и совсем никудышный раб.

и меня на ужин сожрала моя игра,
 не стерпев таких беспощадных девичьих правил.
 если я в составе свинцовых пуль, то я двадцать первый грамм,
 косвенно причастный к твоей расправе.
 мне противен принцип — стоять, обращаясь в бегство.
 мне противен принцип — стричь звуки в себе под ноль.
 даже с точки зрения моего идиотского королевства
 я херовый, херовый больной король.

по Шредингеру: кот бодрствует, раз спит.
 по Шредингеру: я вырвал тебя, раз спас.
 по Мазоху: если здесь есть какое-то ты, то оно у меня болит.
 по Библии: добрый бог не простит нас.

а пока он не лезет в эту коробку, поскольку мудр,
 мне себя соскребать со стекол, страниц и мельниц,
 мне себя закрывать руками от жестких утр,
 которые упрямо в меня целятся.
 пытаюсь достать до самого до нутра.

по Шредингеру: кот грустен и значит рад.
 по Шредингеру: не трогать тебя, но — брать.
 по Мазоху: заучивать мертвые телефонные номера,
 выписанные в тетрадь.
 по Библии: добрый бог устанет меня карать,
 в первый же день устанет меня карать

за маму, за кровь, за сторбленную тоску,
за девочек, вырванных из реальности по куску,
за отпечатки пальцев у них на скулах,
за пули, скользящие по виску,
за проданных, преданных и отпущенных
за все сущее.

а пока я слушаю,
говори, я слушаю.

по Библии, детка, я маргинал и урод.
по Мазоху: я пишу тебе целые письма.

по Шредингеру: возможен кошмарно любой исход,
и ни один из них не имеет смысла.